

Максим Горький

Рассказ о герое



Максим Горький

Рассказ о герое

«Public Domain»

1924

Горький М.

Рассказ о герое / М. Горький — «Public Domain», 1924

«В детстве, раньше чем испугаться людей, я боялся тараканов, пчёл, крыс; позднее меня стали мучить страхом грозы, выюги, темнота...»

Максим Горький

Рассказ о герое

В детстве, раньше чем испугаться людей, я боялся тараканов, пчёл, крыс; позднее меня стали мучить страхом грозы, вьюги, темнота.

Когда гремел гром, я до боли крепко закрывал глаза, чтоб не видеть синюю дрожь стёкол в окнах, освещаемых молниями. Кто-то внушил мне, – а может быть, я сам выдумал, – что, разрывая небо, молнии обнажают великий, геенский огонь, там, за пределами синего, видимого в ясные дни. Синее – дым пожара, обнявшего весь мир, звёзды – искры пожара; в любой час земля может вспыхнуть, точно косточка вишни, брошенная в костёр, загорится, как солнце, и потом, обращённая в уголь, повиснет в небе второю луной.

Особенно я боялся темноты. Я воспринимал её не как отсутствие света, а как самостоятельную силу, враждебную ему. Когда её серая, неощутимая пыль омрачала воздух и, сгущаясь, чернея, поглощала деревья, дома, мебель в комнатах, я ждал, что пыль темноты сгустится до твёрдости камня и в ней окаменеет всё живое, окаменею я. Мне всегда хотелось пощупать тьму, я протягивал руку в неосвещённые углы и, осторожно сжимая пальцы в кулак, ощущал кожей ладони неприятный, влажный холодок. Темнота – это копоть надзвёздного пожара, разрушающего всё видимое в чёрную пыль.

Я знаю, что эти представления чрезмерно сложны для мальчика десяти – тринадцати лет, но мне кажется, что именно таковы они были у меня в те годы.

А наиболее, почти до безумия, пугал меня свист и вой зимних вьюг. В дьявольские ночи, когда всё на земле бешено кружится, качаются деревья, точно стремясь сорваться с земли и улететь куда-то в облаках снега, в эти ночи мне казалось, что некие злые силы решили опустошить землю, сдуть с неё города, леса, людей и оставить только меня одного в мёртвом молчании, среди белой, холодной пустыни. Грудь моя наполнялась мучительным ощущением неизмеримой пустоты, в ней, как мошка между небом и морем, повисло и трепещет моё ужаснувшееся сердце. Проклятый насмешливый свист ветра пронзительно раздаётся внутри меня, морозит и ломает тело моё. Я прятал голову в подушку, затыкал уши пальцами и всё-таки слышал этот опустошающий, убийственный свист в груди моей.

Можно подумать, что я был мальчик болезненный, но это не так; сильный, хорошо упитанный, я казался рослее и старше моих сверстников, и меня считали не по возрасту серьёзным.

Да, я был физически здоров и думаю, что источник страха пред явлениями природы лежал именно в здоровье моём, – это естественный, биологический страх человека пред непонятным ему и угрожающим гибелью. Я уверен, что больной не может ощущать страха с тою силой, с какой ощущает его здоровый человек.

Один у матери, я не помню отца, епархиального архитектора, он умер, когда мне было четыре года. Его заменял мне дядя, брат матери, священник, вдовец; он любил и баловал меня так же, как мать, горничная Дуня, водовоз Никон и все другие люди нашего дома.

– Зачем нужны вьюги? – спрашивал я дядю.

Большой, тучный, очень красивый и весёлый, отличный гитарист, азартный картёжник, он ласково обнимал меня и говорил что-нибудь утешительное, но не утешавшее:

– Так установлено природой, сообразно воле божией.

И, поглаживая волосы мои, обращался к матери:

– У него философический наклон ума.

Он беседовал со мною всегда очень охотно, и я любил слушать его плавную речь, мягкие, круглые слова, его рассказы о трёх силах, управляющих миром: божьей, природе и разуме человека. Но я не мог понять таинственной связи этих сил, и чем больше слушал, тем далее, в сумрак непонятного, уходил бог, тем более страшной казалась природа и неясной роль разума.

У меня возникла грубая, но мучительно навязчивая аллегория: природа – это прачка Карасёва, огромная, грязная баба по прозвищу – Мокрея. Она жила на дворе нашего дома рядом с конюшней. Лет десять наблюдал я её, и мне кажется, что за это время её толстое, красное лицо, с насмешливым взглядом наглых, жирных глаз, – не изменялось. Ей было лет сорок, и, неустоимая в труде, она была так же неустойчива в разврате. Как многие женщины её возраста, она болела эротической болезнью – страстью к юношам, которых она растлевала с той же ненасытностью, как это делают сексуально больные мужчины, растлители девственниц.

Циничная, хитрая, в трезвом виде она была слащаво ласкова, её певуче-фальшивый голос звучал виновато, лицо становилось ещё шире, а наглые глаза конфузливо улыбались.

Но почти каждую субботу, к вечеру, она неистово напивалась и ею овладевали припадки бессмысленного буйства. Обнаруживая силу здорового мужика и стихийное стремление разрушать, она била трёх товарок своих, таких же грязных баб, била посуду, ломала стулья, скамьи, однажды изрубила топором бочку водовоза Никона, богобоязненного старика, молчаливого, кроткого, всегда летом одетого в белое, точно покойник.

Однажды, когда она, связанная по рукам и по ногам, лежала на земле у двери конюшни, я слышал, как Никон сказал ей:

– Жизни ты не жалеешь, Мокрея!

Она хрипло ответила:

– А – что мне жизнь? Эка штука – жизнь!

В часы, когда она буйствовала, на дворе являлся человеческий разум в лице городского, он молча ударом кулака сваливал Мокрею с ног, туго сжав губы, мычал и связывал прачке руки, ноги жгутами из грязных простынь, верёвками. Она никогда не сопротивлялась ему, а только бормотала, усмехаясь:

– Ну, ну, вяжи! Вяжи, дьявол...

Городовой сопел, опутывая её верёвками, и приговаривал сквозь зубы:

– Я т-тебя знаю, я т-тебя...

Не один я находил, что пьяная прачка – страшна. Я безумно боялся её, она возбуждала у меня чувство острого отвращения, непобедимой брезгливости.

– Зачем живёт она? – спрашивал я дядю, он отвечал, лаская меня:

– Сего вопроса разум не решает; на вопрос – зачем? – мы не находим иного ответа, как: это есть воля божия.

Не стыжусь сознаться, что грубо аллегорическое уподобление природы прачке Мокрее, а человеческого разума – татарину полицейскому держалось у меня даже в годы юности моей, а может быть, я и сейчас не свободен от этой аллегории. И, разумеется, она усиливала, углубляла мой страх перед явлениями жизни, слишком явно неразумными и враждебными мне, человеку.

Когда я узнал, что комар может заразить меня лихорадкой, а мыши разносят чуму, – это поразило меня. И ничтожнейший комар – враг мой, и трусливая мышь – тоже враг?

Я одолевал дядю детским вопросом – зачем? – и наконец рассердил его.

– Вот что, сударь, – сказал он, сдвинув густые брови свои, – мальчику твоих лет умничать не надлежит так надоедно. И, собственно говоря, тебя надо бы за это высечь. Отвяжись.

Мать тоже говорила мне:

– Перестань ты приставать к дяде. Что ты всё спрашиваешь о пустяках? Нехорошо.

Но, говоря так, они продолжали хвастаться пред знакомыми пытливостью моего ума. Развивая этим моё самолюбие, мать и дядя в то же время охлаждали моё отношение к ним. Я уже чувствовал себя умнее моих сверстников, и у меня не было товарищей среди них. Конечно, в гимназии заметили, что я труслив, и жестоко дразнили меня. К тому же я был тяжёл, неловок; игры казались мне опасными и не увлекали меня; я боялся междоусобных драк в гимназии, а вражда мальчишек улицы с гимназистами напоминала мне инстинктивную вражду дикарей Густава Эмара к европейцам. Таким образом я очень рано почувствовал гордость одиночества

и смутно понял значение его как единственной области, где свободно воспитывается независимая личность.

Я был средним учеником, учился честно, хотя без увлечения. Естественные науки, о мудрости которых с уважением говорил дядя, не гасили моего страха перед явлениями природы, даже не уменьшали его. Науки эти очень воодушевлённо преподавал молодой учитель Жданов, кругленький, бойкий человек, похожий на обезьяну; гимназисты дали ему прозвище Мяч. У него была какая-то своя гипотеза строения материи, он обожал электричество и кричал на уроках:

– В электрической энергии скрыты все загадки жизни, и скоро мы разрешим их!

Был он чудаковат, влюбчив, почти каждую весну разыгрывал новый роман; он казался мне легкомысленным, я видел в нём что-то общее с клоуном и был обижен им. Однажды, на уроке, я не мог понять чего-то, это рассердило Жданова, и он сказал мне:

– Ты, бесспорно, трудолюбивый юноша, но – не любишь науку. И вообще я не вижу: что, собственно, любишь ты? На мой взгляд, тебе следовало бы учиться не здесь, а в семинарии, да.

Учителем истории был Милий Новак. Высокий, костлявый, сутулый, с маленькой, лысаватой головою, безволосым лицом старой девы и огромным кадыком, он казался мне жутко уродливым. Почти треть его лица закрывали круглые, тёмные очки в роговой оправе. Был неряшлив, рассеян, ходил неуверенной, качающейся походкой; каблуки сапог его всегда стоптаны, а брюки на коленях смешно пузырились. Я заметил, что он боится лошадей. Прежде чем перейти через улицу, с панели на панель, он долго и нерешительно оглядывался, ждал, когда проедут извозчики, и потом, наклонив голову, быстро шагал, качаясь, почти падая.

Ровным, бесцветным голосом он скучно рассказывал историю и несколько оживлялся только тогда, когда оправдывал жестокость царей. Говорил он, засунув руки глубоко в карманы, но тут медленно вытаскивал левую руку, поднимал палец, загнутый крючком, на уровень плеча и внушал:

– Пётр Великий был жесток, но этого требовали обстоятельства.

В его сухом изложении история заинтересовала меня обилием страшного. Должно быть, я на уроках Новака особенно подчёркивал факты жестокости, – выслушав ответы мои, он утвердительно кивал головою:

– Так. Именно – так. Царь Иван Грозный был вынужденно жесток, чего требовали обстоятельства эпохи. Так.

Иногда он ставил меня в пример ученикам, и это усиливало неприязнь гимназистов ко мне.

Я был в шестом классе, когда Новак, встретив меня на улице, предложил мне зайти к нему.

– Вечерком, завтра, попозднее, – вполголоса добавил он.

Он жил во флигеле, среди сада, на хлебником у какой-то осанистой безмолвной старухи. Его полутёмная комната была завалена книгами, среди её огромный стол, тоже нагруженный кучами книг, у стены кровать, в углу шкаф для платья. В саду, во тьме, лениво сыпался тёплый дождь, странно звенела листва деревьев; этот суховатый, шёлковый звук показался мне совершенно необходимым в комнате Новака, всегда наполняющим её сумрак. В открытое окно влетали серые бабочки и кружились над столом, над лампой, прикрытой зелёным абажуром.

Наклонив зелёную лысину, глядя в стол, Новак, согнувшись дугою, тёмный, неподвижный, тихо убеждал меня готовиться на историко-филологический факультет.

– У вас, Макаров, есть вкус к истории, и я предлагаю приватно заняться с вами этой наукой, буду давать вам книги, руководить вашим чтением. Так.

Мне польстило, что он говорит со мною на «вы», и я принял его предложение. Он взял со стола небольшую книжку в переплёте красного сафьяна, погладил её ладонью.

– Вот книга, которую надо внимательно прочитать. Пожалуйста, обращайтесь с нею осторожно. Потом я побеседую с вами о ней. Так.

Это была книжка Карлейля «Герои и героическое в истории». Я не очень любил читать серьёзные книги, меня вполне удовлетворяли романы приключений, переводы с иностранных языков. Но эту книжку я прочитал добросовестно и хотя не помню, понравилась ли она мне, однако в ней было нечто удовлетворяющее мой литературный вкус, воспитанный на Робинзоне Крузо и приключениях героев Купера, Майн-Рида, Густава Эмара.

Я был очень поражён, когда Новак раскрыл предо мною философию этой маленькой книги. С холодной, угнетающей силою, негромко, но тем более веско он говорил, что народные массы, в сущности, безличны, духовно примитивны и однообразны; они желают только одного: увеличить внешние удобства жизни, но им чуждо стремление познать её тайны, им неведомо и враждебно творчество. Даже улучшить грубые и тяжкие условия жизни своей они самосильно неспособны, – массы не умеют изобретать, выдумывать, – творит, изобретает, законодательствует всегда только человек, единица, личность.

– Народ всегда жил эксплуатацией духовной энергии личности, – сухо звучали памятные мне слова, и пред лицом моим шевелился крючковатый палец, точно намереваясь вырвать глаза мне. Его кадык неприятно раздувался под напором слов.

– Без Ивана Грозного и Великого Петра, без немецкой принцессы Екатерины, Пушкина, Гоголя, Достоевского – мир не знал бы и не чувствовал России. История всегда дело единиц, результат творчества героев. Италию создали Данте и Петрарка, Англию – Мильтон, Юм, Гоббс...

Он произносил имена людей, о которых я ничего не знал, кроме имён их. Он спрашивал:

– Чем была бы Франция без Рабле, Декарта, Вольтера, Германия без Гёте, Фихте, Вагнера? Чем были бы нации Европы без поэтов и мыслителей, которые воодушевили их, дали им каждой своё оригинальное лицо? Взгляните на чёрные племена Африки, на калмыков, киргиз, башкир...

Положив руки на стол, он быстро, нервно шевелил пальцами и всё понижал голос, – это заставляло меня особенно напрягать внимание, убеждая, что я слышу тайны, неведомые никому, кроме Новака. Помню, мне очень хотелось, чтоб он снял очки, – они были единственным, что осталось мне знакомо в этом человеке. Я никогда не видел его злым, даже раздражённым; сухой, скучный, он вёл себя в классах всегда спокойно и ровно, как мастеровой, исполняющий привычную, надоевшую ему работу. Но в этот вечер он неузнаваемо изменился, в его приглушённых словах я слышал гнев, негодование, и казалось, что он жалуется, разоблачая предо мною обман, оскорбительный для него. Речь, видимо, опьяняла его, он судорожно изгибал длинное тело своё, и между слов, в кадыке его, булькал странный, жуткий звук, свойственный заикам:

– Уп-уп-уп...

– Гений независим от народа, – говорил он. – Величайший гений наш – Пушкин – был потомком араба. Жуковский – полутурок. Лермонтов – шотландец, – так! Вы – понимаете? Гений – вне нации, он выше нации, всегда выше! В каждой стране вы найдёте вождей чужой крови. Безразлично, кто одухотворяет народ и ведёт его за собою: еврей Христос или грек Платон, индус или китаец Лао-Дзе. Руссо, Толстой – одного духа и, в сущности, одного языка. Герои, вожди – племя личностей, не имеющих почти ничего общего с массами...

Я чувствовал в его словах какую-то правду и чувствовал, что она меня обязывает к чему-то, это неприятно волновало меня.

– Человек и люди – не одно и то же, нет, – слышал я. – Человек – враг действительности, утверждаемой людьми, вот почему он всегда ненавистен людям. История – это вражда одного против множества, вражда, разжигаемая в народе – любовью к покою, в человеке – страстью к

деянию. История всегда поэтому будет исполнена жестокости и не может, не может быть иной. Так.

Провожая меня, он шептал:

– Не верьте социалистам, их учение опасно, насквозь пропитано ложью, это учение – против человека, – понимаете? Не верьте.

И ещё долго говорил он о социалистах что-то пугающее, чего я, утомлённый, уже не понимал. Помню его лёгкую, но цепкую руку на плече моём, дрожь его пальцев и чёрный блеск за стёклами очков – всё это было неприятно мне.

Разумеется, я упростил его мысли, вероятно, сделал их грубее, – мне было семнадцать лет, когда я услышал впервые эти мысли, незнакомые мне. Идя домой безмолвными улицами, я чувствовал, что мне по-новому жутко. До этого вечера жизнь была проще для меня. Я ведь не ощущал в себе ничего героического, никогда не мечтал о роли борца с кем-то или с чем-то за что-то. Я был обыкновеннейший парень, среднего роста, полный, избалованный матерью, мать очень заботилась о моём здоровье и заразила меня почти болезненной мнительностью. Мне нравилось лежать на диване с книгой в руках, удивляться ловкости или храбрости героев, ощущать моё различие от преступников, приятно было жалеть несчастных и радоваться, когда судьба, затейливо помучив, улыбалась им. Интересно было узнавать, что существуют люди, которым нравятся тревоги и опасности жизни, люди, которым приятно заботиться о счастье близких, но – лично мне эти люди были не нужны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.